

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956**

А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВОСЬМОЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1895—1903

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Примечания
И. С. Е Ж О В А

СУПРУГА

— Я просил вас не убирать у меня на столе,— говорил Николай Евграфыч.— После ваших уборок никогда ничего не найдешь. Где телеграмма? Куда вы ее бросили? Извольте искать. Она из Казани, помечена вчерашним числом.

Горничная, бледная, очень тонкая, с равнодушным лицом, нашла в корзине под столом несколько телеграмм и молча подала их доктору, но все это были городские телеграммы, от пациентов. Потом искали в гостиной и в комнате Ольги Дмитриевны.

Был уже первый час ночи. Николай Евграфыч знал, что жена вернется домой не скоро, по крайней мере часов в пять. Он не верил ей и, когда она долго не возвращалась, не спал, томился и в то же время презирал и жену, и ее постель, и зеркало, и ее бонбоньерки, и эти ландыши и гиацинты, которые кто-то каждый день присылал ей и которые распространяли по всему дому приторный запах цветочной лавки. В такие ночи он становился мелочен, капризен, придирчив, и теперь ему казалось, что ему очень нужна телеграмма, полученная вчера от брата, хотя эта телеграмма не содержала в себе ничего, кроме поздравления с праздником.

В комнате жены на столе, под коробкой с почтовой бумагой, он нашел какую-то телеграмму и взглянул на нее мельком. Она была адресована на имя тещи, для передачи Ольге Дмитриевне, из Монте-Карло, подпись:

Michel... Из текста доктор не понял ни одного слова, так как это был какой-то иностранный, повидимому, английский язык.

— Кто этот Мишель? Почему из Монте-Карло? Почему на имя тещи?

За время семилетней супружеской жизни он привык подозревать, угадывать, разбираться в уликах, и ему не раз приходило в голову, что благодаря этой домашней практике из него мог бы выйти теперь отличный сыщик. Придя в кабинет и начавши соображать, он тотчас же вспомнил, как года полтора назад он был с женой в Петербурге и завтракал у Кюба с одним своим школьным товарищем, инженером путей сообщения, и как этот инженер представил ему и его жене молодого человека лет двадцати двух — двадцати трех, которого звали Михаилом Ивановичем; фамилия была короткая, немножко странная: Рис. Спустя два месяца доктор видел в альбоме жены фотографию этого молодого человека с надписью по-французски: «На память о настоящем и в надежде на будущее»; потом он раза два встречал его самого у своей тещи... И как раз это было то время, когда жена стала часто отлучаться и возвращалась домой в четыре и пять часов утра и все просила у него заграничного паспорта, а он отказывал ей, и у них в доме по целым дням происходила такая война, что от прислуги было совестно.

Полгода назад товарищи врачи решили, что у него начинается чахотка, и посоветовали ему бросить все и уехать в Крым. Узнавши об этом, Ольга Дмитриевна сделала вид, что это ее очень испугало; она стала ласкаться к мужу и все уверяла, что в Крыму холодно и скучно, а лучше бы в Ниццу, и что она поедет вместе и будет там ухаживать за ним, беречь его, покоить...

И теперь он понимал, почему жене так хочется именно в Ниццу: ее Michel живет в Монте-Карло.

Он взял английско-русский словарь и, переводя слова и угадывая их значение, мало-помалу составил такую фразу: «Пью здоровье моей дорогой возлюбленной, тысячу раз целую маленькую ножку. Нетерпеливо жду приезда». Он представил себе, какую бы смешную, жалкую роль он играл, если бы согласился поехать с

женой в Ниццу, едва не заплакал от чувства обиды и в сильном волнении стал ходить по всем комнатам. В нем возмущилась его гордость, его плебейская брезгливость. Сжимая кулаки и морщась от отвращения, он спрашивал себя, как это он, сын деревенского попа, бурсак по воспитанию, прямой, грубый человек, по профессии хирург — как это он мог отдаться в рабство, так позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданию?

— Маленькая ножка! — бормотал он, комкая телеграмму. — Маленькая ножка!

От того времени, когда он влюбился и сделал предложение и потом жил семь лет, осталось воспоминание только о длинных душистых волосах, массе мягких кружев и о маленькой ножке, в самом деле очень маленькой и красивой; и теперь еще, казалось, от прежних объятий сохранилось на руках и лице ощущение шелка и кружев — и больше ничего. Ничего больше, если не считать истерик, визга, попреков, угроз и лжи, наглой, изменнической лжи... Он помнил, как у отца в деревне, бывало, со двора в дом нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла и опрокидывать вещи, так и эта женщина, из совершенно чуждой ему среды, влетела в его жизнь и произвела в ней настоящий разгром. Лучшие годы жизни протекли, как в аду, надежды на счастье разбиты и осмеяны, здоровья нет, в комнатах его пошлая кокоточная обстановка, а из десяти тысяч, которые он зарабатывает ежегодно, он никак не соберется послать своей матери-попадье хотя бы десять рублей и уже должен по векселям тысяч пятнадцать. Казалось, если бы в его квартире жила шайка разбойников, то и тогда бы жизнь его не была так безнадежно, непоправимо разрушена, как при этой женщине.

Он стал кашлять и задыхаться. Надо было бы лечь в постель и согреться, но он не мог, а все ходил по комнатам или садился за стол, и нервно водил карандашом по бумаге, и писал машинально:

«Проба пера... Маленькая ножка...»

• К пяти часам он ослабел и уже обвинял во всем одного себя, ему казалось теперь, что если бы Ольга Дмитриевна вышла за другого, который мог бы иметь

на нее доброе влияние, то — кто знает? — в конце концов, быть может, она стала бы доброй, честной женщиной; он же плохой психолог и не знает женской души, к тому же неинтересен, груб...

«Мне уже осталось немного жить, — думал он, — я труп и не должен мешать живым. Теперь в сущности было бы странно и глупо отстаивать какие-то свои права. Я объяснюсь с ней; пусть она уходит к любимому человеку... Дам ей развод, приму вину на себя...»

Ольга Дмитриевна приехала, наконец, и, как была, в белой ротонде, шапке и в калошах, вошла в кабинет и упала в кресло.

— Противный, толстый мальчишка, — сказала она, тяжело дыша, и всхлипнула. — Это даже нечестно, это гадко. — Она топнула ногой. — Я не могу, не могу, не могу!

— Что такое? — спросил Николай Евграфыч, подходя к ней.

— Меня провожал сейчас студент Азарбеков и потерял мою сумку, а в сумке пятнадцать рублей. Я у мамы взяла.

Она плакала самым серьезным образом, как девочка, и не только платок, но даже перчатки у нее были мокры от слез.

— Что ж делать! — вздохнул доктор. — Потерял, так и потерял, ну и бог с ним. Успокойся, мне нужно поговорить с тобой.

— Я не миллионерша, чтобы так манкировать деньгами. Он говорит, что отдаст, но я не верю, он бедный...

Муж просил ее успокоиться и выслушать его, а она говорила все о студенте и о своих потерянных пятнадцати рублях.

— Ах, я дам тебе завтра двадцать пять, только замолчи, пожалуйста! — сказал он с раздражением.

— Мне надо переодеться! — заплакала она. — Не могу же я серьезно говорить, если я в шубе! Как странно!

Он снял с нее шубу и калоши и в это время ощутил запах белого вина, того самого, которым она любила запивать устриц (несмотря на свою воздушность, она очень много ела и много пила). Она пошла к себе и не-

много погода вернулась переодетая, напудренная, с заплаканными глазами, села и вся ушла в свой легкий с кружевами капот, и в массе розовых волн муж различал только ее распушенные волосы и маленькую ножку в туфле.

— Ты о чем хочешь говорить? — спросила она, покачиваясь в кресле.

— Я нечаянно увидел вот это... — сказал доктор и подал ей телеграмму.

Она прочла и пожала плечами.

— Что ж? — сказала она, раскачиваясь сильнее. — Это обыкновенное поздравление с Новым годом и больше ничего. Тут нет секретов.

— Ты рассчитываешь на то, что я не знаю английского языка. Да, я не знаю, но у меня есть словарь. Это телеграмма от Риса, он пьет здоровье своей возлюбленной и тысячу раз целует тебя. Но оставим, оставим это... — продолжал доктор торопливо. — Я вовсе не хочу упрекать тебя или делать сцену. Довольно уже было и сцен и попреков, пора кончить... Вот что я тебе хочу сказать: ты свободна и можешь жить, как хочешь.

Помолчали. Она стала тихо плакать.

— Я освобождаю тебя от необходимости притворяться и лгать, — продолжал Николай Евграфыч. — Если любишь этого молодого человека, то люби; если хочешь ехать к нему за границу, поезжай. Ты молода, здорова, а я уже калека, жить мне осталось недолго. Одним словом... ты меня понимаешь.

Он был взволнован и не мог продолжать. Ольга Дмитриевна, плача и голосом, каким говорят, когда жалуют себя, созналась, что она любит Риса и ездила с ним кататься за город, бывала у него в номере, и в самом деле ей очень хочется теперь поехать за границу.

— Видишь, я ничего не скрываю, — сказала она со вздохом. — Вся душа моя нараспашку. И я опять умоляю тебя, будь великодушен, дай мне паспорт!

— Повторю: ты свободна.

Она пересела на другое место, поближе к нему, чтобы взглянуть на выражение его лица. Она не верила ему и хотела теперь понять его тайные мысли. Она никогда никому не верила, и как бы благородны ни были

намерения, она всегда подозревала в них мелкие или низменные побуждения и эгоистические цели. И когда она пытливо засматривала ему в лицо, ему показалось, что у нее в глазах, как у кошки, блеснул зеленый огонек.

— Когда же я получу паспорт? — спросила она тихо.

Ему вдруг захотелось сказать «никогда», но он сдержал себя и сказал:

— Когда хочешь.

— Я поеду только на месяц.

— Ты поедешь к Рису навсегда. Я дам тебе развод, приму вину на себя, и Рису можно будет жениться на тебе.

— Но я вовсе не хочу развода! — живо сказала Ольга Дмитриевна, делая удивленное лицо. — Я не прошу у тебя развода! Дай мне паспорт, вот и все.

— Но почему же ты не хочешь развода? — спросил доктор, начиная раздражаться. — Ты странная женщина. Какая ты странная! Если ты серьезно увлеклась и он тоже любит тебя, то в вашем положении вы оба ничего не придумаете лучше брака. И неужели ты еще станешь выбирать между браком и адюльтером?

— Я понимаю вас, — сказала она, отходя от него, и лицо ее приняло злое, мстительное выражение. — Я отлично понимаю вас. Я надоела вам, и вы просто хотите избавиться от меня, навязать этот развод. Благодарю вас, я не такая дура, как вы думаете. Развода я не приму и от вас не уйду, не уйду, не уйду! Во-первых, я не желаю терять общественного положения, — продолжала она быстро, как бы боясь, что ей помешают говорить, — во-вторых, мне уже двадцать семь лет, а Рису двадцать три; через год я ему надоем и он меня бросит. И в-третьих, если хотите знать, я не ручаюсь, что это мое увлечение может продолжаться долго... Вот вам! Не уйду я от вас.

— Так я тебя выгоню из дому! — крикнул Николай Евграфыч и затопал ногами. — Выгоню вон, низкая, гнусная женщина!

— Увидим-с! — сказала она и вышла.

Уже давно рассвело на дворе, а доктор все сидел у

стола, водил карандашом по бумаге и писал машинально:

«Милостивый государь... Маленькая ножка...»

Или же он ходил и останавливался в гостиной перед фотографией, снятой семь лет назад, вскоре после свадьбы, и долго смотрел на нее. Это была семейная группа: тесть, теща, его жена Ольга Дмитриевна, когда ей было двадцать лет, и он сам в качестве молодого, счастливого мужа. Тесть, бритый, пухлый, водяночный тайный советник, хитрый и жадный до денег, теща — полная дама с мелкими и хищными чертами, как у хорька, безумно любящая свою дочь и во всем помогающая ей; если бы дочь душила человека, то мать не сказала бы ей ни слова и только заслонила бы ее своим подолом. У Ольги Дмитриевны тоже мелкие и хищные черты лица, но более выразительные и смелые, чем у матери; это уж не хорек, а зверь покрупнее! А сам Николай Евграфыч глядит на этой фотографии таким простаком, добрым малым, человеком-рубахой; добродушная семинарская улыбка расплылась по его лицу, и он наивно верит, что эта компания хищников, в которую случайно втокнула его судьба, даст ему и поэзию, и счастье, и все то, о чем он мечтал, когда еще студентом пел песню: «Не любить — погубить значит жизнь молодую...»

И опять с недоумением спрашивал себя, как это он, сын деревенского попа, по воспитанию — бурсак, простой, грубый и прямой человек, мог так беспомощно отдаться в руки этого ничтожного, лживого, пошлого, мелкого, по натуре совершенно чуждого ему существа.

Когда в одиннадцать часов он надевал сюртук, чтобы ехать в больницу, в кабинет вошла горничная.

— Что вам? — спросил он.

— Барыня встали и просят двадцать пять рублей, что вы давеча обещали.

АННА НА ШЕЕ

I

После венчания не было даже легкой закуски; молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал. Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев — поездка на богомолье за двести верст. Многие одобряли это, говоря, что Модест Алексеич уже в чинах и не молод и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной; да и скучно слушать музыку, когда чиновник пятидесяти двух лет женится на девушке, которой едва минуло восемнадцать. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеич, как человек с правилами, затеял собственно для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он отдает первое место религии и нравственности.

Молодых провожали. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала, когда пойдет поезд, чтобы крикнуть «ура», и Петр Леонтьич, отец, в цилиндре, в учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, все тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще:

— Анюта! Аня! Аня, на одно слово!

Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая ее запахом винного перегара, дул в ухо, — ничего нельзя было понять, — и крестил ей лицо,

грудь, руки; при этом дыхание у него дрожало и на глазах блестели слезы. А братья Ани, Петя и Андриюша, гимназисты, дергали его сзади за фрак и шептали сконфуженно:

— Папочка, будет... Папочка, не надо...

Когда поезд тронулся, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо.

— Ура-а-а! — кричал он.

Молодые остались одни. Модест Алексеич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакеннами и без усов, и его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов, это свежесвыбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки. Держался он солидно, движения у него были не быстрые, манеры мягкие.

— Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства,— сказал он улыбаясь.— Пять лет назад, когда Косоротов получил орден святыя Анны второй степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так: «Значит, у вас теперь три Анны: одна в петлице, две на шее». А надо сказать, что в то время к Косоротову только что вернулась его жена, особа сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое.

Он улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными, влажными губами и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее, ей было и страшно и гадко. Он встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат.

— Вот так,— сказал он, садясь рядом с Аней.

Она вспоминала, как мучительно было венчание, когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на нее печально: зачем, зачем она, такая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина? Еще утром сегодня она была в восторге, что все так хорошо устроилось, во время же венчания и теперь в вагоне чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной. Вот она вышла за богатого, а денег у нее все-таки не было, венчальное платье шили в долг, и, когда сегодня ее провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать? А завтра? И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные и испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери.

«О, как я несчастна! — думала она. — Зачем я так несчастна?»

С неловкостью человека солидного, непривыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеич трогал ее за талию и похлопывал по плечу, а она думала о деньгах, о матери, об ее смерти. Когда умерла мать, отец, Петр Леонтыч, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил, наступила нужда; у мальчиков не было сапог и калош, отца таскали к мировому, приходил судебный пристав и описывал мебель... Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и, когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивая, беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость и что он не перенесет этого и тоже умрет, как мать. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеич, не молодой и не красивый, но с деньгами. У него в банке тысяча сто и есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Это человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства; ему ничего не стоит, как говорили Ане, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии

и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтыча не увольняли...

Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Это поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра: должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приехавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места, богач, высокий, полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами навывкате и в странном костюме. На нем была рубаша, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами, и с плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые.

У Ани еще блестели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро:

— Здравствуйте! Как поживаете?

Она вышла на площадку, под лунный свет, и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке.

— Зачем мы здесь стоим? — спросила она.

— Здесь разъезд, — ответили ей, — ожидают почтового поезда.

Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски, и оттого, что ее собственный голос звучал так прекрасно и что слышалась музыка и луна отражалась в пруде, и оттого, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный донжуан и баловник, и оттого, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость и, когда поезд тронулся и знакомые офицеры на прощанье сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями; и верну-

лась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что.

Молодые пробыли в монастыре два дня, потом вернулись в город. Жили они на казенной квартире. Когда Модест Алексеич уходил на службу, Аня играла на рояле, или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы и рассматривала модный журнал. За обедом Модест Алексеич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережет и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И, держа нож в кулаке, как меч, он говорил:

— Каждый человек должен иметь свои обязанности!

А Аня слушала его, боялась и не могла есть и обыкновенно вставала из-за стола голодной. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода осуждали ее за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного, скучного человека; ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их; в ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить с ней; но все же любили они ее попрежнему и еще не привыкли обедать без нее. Она садилась и кушала с ними щи, кашу и картошку, жаренную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Петр Леонтьич дрожащей рукой наливал из графинчика и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением, потом выпивал другую рюмку, потом третью... Петя и Андрюша, худенькие, бледные мальчики с большими глазами, брали графинчик и говорили растерянно:

— Не надо, папочка... Довольно, папочка...

И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а он вдруг вспыхивал и стучал кулаком по столу.

— Я никому не позволю надзирать за мной! — кричал он. — Мальчишки! Девчонка! Я вас всех выгоню вон!

Но в голосе его слышались слабость, доброта, и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наря-